
ФИЛОЛОГИЯ

ББК 83.3 (2 Рос=Калм)

КАЛМЫКИ В МИРЕ ПУШКИНА**Б.А. Кичикова**

Статья посвящена рассмотрению «калмыцкой» темы в творчестве А.С. Пушкина. Художественным сознанием поэта калмыки воспринимаются в аспекте проблемы свободы и занимают важное место в суждениях о роли, значении и перспективах развития народов России.

Ключевые слова: Пушкин, калмыки, свобода, история, русская литература, поэтический портрет, «друг степей».

The article is devoted to a scrutiny of the Kalmyk theme in the context of the creative work of A.S. Pushkin. The Kalmyks are apprehended in the poet's artistic consciousness from the aspect of the problem of freedom and rank high in his judgements on the role, the significance and the perspectives of the development of the peoples of Russia.

Keywords: Pushkin, Kalmyks, freedom (liberty), history, the Russian literature, a poetic portrait, "the friend of steppes".

В свое время Аполлон Григорьев, критик страстный и проницательный, отказавшись от попыток точно определить, **что есть Пушкин**, с какой-то отчаянной гордостью сказал: «Пушкин – наше всё!». Некая точность тут все-таки была – точность нравственного чувства, с которой к Пушкину, как ни к какому другому великому явлению, нужно подходить. Ведь освободительная, возвышающая, объединяющая сила пушкинского слова [1]: «Всем вольный вход, все гости дорогие» (VII, 16), «Все флаги в гости будут к нам» (V, 135), – сегодня, быть может, поистине «наше всё», доставшееся в наследие от веков гуманистической культуры.

В знаменитой речи о поэте Достоевский назвал его гением «всемирной отзывчивости». Масштабы смысла этой формулы только приоткрываются в наши дни, когда читатель едва ли не из любого уголка современного, огромного и сложного, мира смог бы разглядеть в личности Пушкина черты «своего» поэта, а в его строках внять отзывающееся своей душой. Уважение к достоинству и образу жизни любого человека и любого народа, постижение «судьбы человеческой, судьбы народной» (XI, 419) – словом, идея дружественного приятия «всякого сущего языка» (III, 424), идея духовного объединения и всеобщего свободного собеседования – вот то, что образует сегодня частное представление «мой Пушкин» и созидает общее понятие «наш Пушкин».

Внутри этого понятия определяется, движется и развивается тема, которой навсегда обеспечено внимание тех, кто называет себя калмыками. Ее можно было бы назвать темой «калмыцких симпатий» Пушкина: «мои калмыцкие нежности» (VIII, 1036), – обмолвил-

ся он в путевых записках 1829 года. Уместно сегодня сказать, что пушкинская симпатия (со-чувствие) вызывает не только понятный интерес и ответную любовь, но и особенное, благодарное, восхищенное и горделивое, отношение к великому поэту народа, связавшего свою судьбу с Россией и верного этому союзу уже четыре столетия.

У поэта личные впечатления и события жизни переплавлены в творчество: «Жизнь и Поэзия одно» [2].

Вот, видимо, из устойчивых ранних впечатлений – дети и подростки «экзотического» обличья, которых с середины XVIII века было модно иметь в услужении у дворянских семей. Калмычат было проще и дешевле достать, чем «арапчат». Один из таких, состарившихся вдаль от всего родного, слуг упомянут в VII главе «Евгения Онегина»: «С чулком в руке, седой калмык» (VI, 156) встречает мать и дочь Лариных в сенях московского особняка. Его младшему соплеменнику, быть может, повезло больше: с калмыком Всеволодом, слугой Н.В. Всеволожского, основателя вольнолюбивого литературно-политического общества «Зеленая лампа» [3], Пушкин познакомился [4] по выходе из Лицея (в 1818(?) г.). Смешливый подросток прислуживал «лампистам» во время заседаний и застолий (1819-1820 гг.), поэт искренне считал его своим приятелем и в письме из южной ссылки возглашал ему особую, «лампицкую», здравицу: «... пожелай здравия калмыку» (Л.С. Пушкину. 27 июля 1821 г., Кишинев – XIII, 31). Годом ранее, с 28 мая по 10 августа 1820 г., по приглашению прославленного генерала Н.Н. Раевского Пушкин совершает путешествие на Северный

Кавказ. С 3 по 25 июля он проходит курс лечения в Железноводске, где, как и все семейство Раевских, живет в калмыцкой кибитке (впоследствии этнографически точно опишет ее в путевых записках 1829 г. и в «Путешествии в Арзрум» 1835 г.), пьет кумыс (в примечании № 6 к поэме «Кавказский пленник» даны пояснения о напитке горских и «кочующих народов Азии» – и вывод: «Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым» – IV, 115; в черновике примечания осталось дополнение: «калмыки напиваются им допьяна» – IV, 351) и близко наблюдает скотоводческий быт калмыков во время летнего кочевья и наемных работ. *Эти калмыки* находятся в исконной среде обитания (степи, предгорья), их жизнь подчинена традиционному хозяйственно-бытовому укладу скотовода-кочевника, их контакты с русскими (военными, чиновниками, путешественниками) ограничены, а с горцами – постоянны или привычны. Эти калмыки выглядят и говорят, действуют и поступают совсем иначе, чем их сородичи в неволе – в барских особняках и поместьях.

Спустя девять лет Пушкин отправляется в «самовольную» поездку в Закавказье, на театр военных действий – опять «воевали турку»: Николаю I были нужны *свои* великие победы. Его империя неуклонно продвигалась на юг и расширялась буквально на глазах поэта, от которого требовалось «воспеть» новые завоевания. Однако «певцом империи» он так и не стал.

Оказавшись в знакомых местах Предкавказья, 12 мая 1829 года, на степной дороге к Георгиевской крепости, просвещенный и любознательный путешественник зашел в юрту калмыков, обслуживавших дорожную станцию. Запись о встрече и разговоре с молодой калмычкой, «собою очень недурной» (VIII, 446, 1028), открывает путевой дневник, начатый в Георгиевске 15 мая, тогда же набросан и черновой вариант стихотворного послания «Калмычке», отображающий непосредственное и личное: «и был влюблен я полчас», «я волочился за тобой...» (III, 725; беловая рукопись помечена: «22 мая. Кап-Кой» – т.е. Владикавказ – III, 1181).

Отдельные впечатления от встреч с калмыками в столицах и в странствиях дополняются и обогащаются у Пушкина точными научными знаниями о быте и истории калмыцкого народа. В 1828 г. поэт знакомится, а с 1829 г. тесно общается с членом-корреспондентом Российской Императорской Академии наук (впоследствии и действительный член Азиатского общества в Париже), выдающимся русским востоковедом Н.Я. Бичуриным (о. Иакинф), и даже мечтает

отправиться вместе с ним в Китай. Для поэта (и уже историка) это общение приобретает особый смысл: с 1833 г. начинается огромная работа над пугачевской тематикой – исследование «История Пугачева» (цензура требует назвать – «История пугачевского бунта») и роман «Капитанская дочка» создаются одновременно. Труд Бичурина «Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего времени» [5] Пушкин читает еще в рукописи, а сведения о трагическом исходе волжских калмыков под водительством Убаши-хана из пределов России в Джунгарию на территории Китая (1771 г.) подробно приводит в огромном примечании к I главе «Истории Пугачева» – с изъятием признательности автору (IX, 95-98, 411, 450). Изданная в 1834 г. книга об ойрат-калмыках, наряду с другими трудами о. Иакинфа, сохранилась в пушкинской библиотеке (№ 167 по каталогу).

Весной 1833 г. исторический романист И.И. Лажечников посылает поэту труд замечательного русского ученого XVIII века, введенного в состав Российской Академии наук по настоянию М.В. Ломоносова, оренбуржца П.И. Рычкова «Описание осады Оренбурга» [6]. Описание пугачевской осады очевидцем, ученым-историком и этнографом, помещено в приложении к «Истории Пугачева» под названием «Осада Оренбурга (Летопись Рычкова)», а пристально изученная – «энциклопедический по охвату проблем труд «оренбургского Ломоносова»» [7] – «Топография Оренбургская» Рычкова же (1762) стала для Пушкина поистине путеводной книгой в его поездке по местам пугачевского восстания [8]. Названная в современном переиздании «Топография Оренбургской губернии», книга П.И. Рычкова содержит массу ценных сведений об оренбургских калмыках во второй половине XVIII века [9].

Сентябрь 1833 г. полностью посвящен путешествию в пространство и время «пугачевщины». В экспедиции Пушкину то и дело встречаются калмыки, и он шутиливо уверяет жену: «Как я хорошо себя веду!<...> с калмычками не кокетничаю...» (19 сентября 1833 г. Из Оренбурга – XV, 82) [10]. А главное, он обнаруживает массу архивных сведений и живых свидетельств об участии калмыков в огненных событиях 1773-1775 годов. Так, от единичных впечатлений и отдельных встреч и знакомств, поэт движется к комплексному представлению о «наших дальних соотечественниках» (VIII, 1028), создавая своеобразную художественно-историческую концепцию места, роли и значения калмыков в прошлом, настоящем и будущем России.

В подтексте темы «калмыки в мире Пушкина» есть и еще один смысл. Принадлежа, по отцу, к древнему боярскому роду Пушкиных, по матери поэт был связан с царственным (согласно преданию) африканским, абиссинским родом. До нас дошел добродушный пушкинский комментарий к здравиям Всеволода Калмыка во время заседаний «Зеленой лампы»: «Азия протезирует Африку». Это резюме шутливо раздвигает пределы петербургской гостины до пространства полумира, а всерьез – выявляет размышления о судьбах потомков разных народов не только в космополитическом Петербурге, но и в громадной Российской империи.

Пушкина остро интересовала проблема национальной ассимиляции и одновременно исторического развития народов России на путях культурно-политической эволюции – гуманного прогресса. Результаты такой эволюции были для поэта очевидны в его постоянном общении, например, с теми представителями русской аристократии и дворянской интеллигенции, которые вели свою родословную от монголо-татарских предков, главным образом, выходцев из Золотой Орды (генетически близких и калмыкам). Потомков ордынцев, крымцев, волжских и уральских татар Пушкин собирательно назвал «племенем Батыя» (в эпилоге поэмы «Кавказский пленник», 1821 – IV, 114).

В пушкинском окружении постоянно встречаются имена братьев Тургеневых, Петра Чаадаева, Дениса Давыдова и других «потомков Батыя». Александр Тургенев хлопотал о зачислении мальчика Пушкина в Царскосельский лицей – и сопровождал гроб с телом поэта к месту последнего упокоения в Святые Горы. Николай Тургенев запер новоиспеченного выпускника Лицея в своем кабинете, где была написана ода «Вольность»; осужденный по делу декабристов *за идеи*, Н.И. Тургенев был заочно приговорен к смертной казни и до конца жизни скитался в эмиграции. Петру Чаадаеву («Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес. А здесь он – офицер гусарский» – II, 124) Пушкин посвятил три гениальных лирических послания; своей личностью, драматической судьбой и трагической философской мыслью Чаадаев определил духовный контекст двух эпох русской жизни – пушкинской и герценовской. Герой Отечественной войны 1812 года, воин-партизан и прославленный поэт, Денис Давыдов дал, по словам Пушкина, «почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным» [11]; «певец-гусар» гордился своей монгольской родословной, называл себя потомком Батыя и неоднократно упоминал своего «предка» Чингис-хана [12]. Двоюродный брат Д.В. Давыдова, герой 1812 года, полководец, госу-

дарственный деятель и просвещенный ум (его громадная библиотека хранится в Московском университете), генерал А.П. Ермолов осуществлял жестокую имперскую политику на Кавказе – и был близок оппозиционным кругам: по планам декабристов, после переворота он должен был возглавить переходное временное правительство; отправляясь в «путешествие в Арзрум», Пушкин навестил опального генерала в Орле – их беседы, безусловно, касались злободневных политических тем, но истинное содержание разговоров осталось неизвестным.

В свете сказанного о «племени Батыя» совершенно закономерным представляется охранительный, по сути, доносительский характер заключения о поколении декабристов реакционного журналиста и литературного противника Пушкина, Н.И. Греча: «В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного недворянина <...> Все – потомки Рюрика, Гедимины, Чингисхана...» [13]. Тех, кого Греч «лягнул демократическим копытом», Герцен назовет «фалангой героев».

Пока во времена звучит родовое имя человека, живет и память о его роде. Назовем и другие имена «потомков Батыя» – немеркнувшие в памяти России, но хранящие и родовую память: ведь именами Ф.В. Ушакова, М.И. Кутузова и А.В. Суворова Отечество гордится не менее, чем именами Н.М. Карамзина, Ф.И. Тютчева, М.Е. Салтыкова, С.В. Рахманинова [14], – как и урожденных калмыков Д.И. Менделеева и Ф.Н. Плевако.

* * *

Калмыки в мире Пушкина – эта тема проходит через все творчество поэта с тех пор, как он стал в сознании современников властителем дум России, и представлена совокупностью следующих, вполне выявляемых комплексов:

– комплекса текстов и фрагментов текстов, содержательно связанных с проблематикой литературно-политического общества «Зеленая лампа» и объединенных формулой «Желай мне здравия, Калмык!»;

– комплекса текстов и фрагментов текстов, связанных с поездкой на Кавказ 1829 года и объединенных эпизодом встречи с калмычкой;

– ряда строф, которые в составе «Евгения Онегина» занимают, пусть скромное, но вполне определенное место, и связаны с историческими, бытовыми и «геополитическими» реалиями романа как «энциклопедии русской жизни»;

– комплекса фрагментов текстов и примечаний к «Истории Пугачева», которые практически не поддаются комментированию, настолько самоочевидно их объектив-

ное социально-политическое и нравственно-философское, гуманистическое значение в проблематике исторического труда;

– комплекса эпизодов из романа «Капитанская дочка», обусловленных проблематикой чести и свободы и объединенных символикой казни и гибели,

– вплоть до итогового «Памятника», к которому стягиваются все силовые линии и световые потоки пушкинского творчества.

Впервые упоминание о калмыках промелькнуло у Пушкина в рассуждениях из эпилога поэмы «Кавказский пленник» об участии собираемых «под руку» России народов, в том числе и «племени Батыя», – но в столь напряженном контексте, что он требует некоторых пояснений. Здесь мы лишь вскользь коснемся темы сложной и, увы, трагически актуальной (учитывая неусвоенные уроки отечественной истории), но – темы исконно пушкинской.

Именно с эпилога «Кавказского пленника» зарождается известное представление о Пушкине как о «певце империи и свободы» [15]. В эпилоге громозвучно, в духе батальной оды XVIII века, воспеты «покорители» Кавказа и горской вольности:

Явился пылкий Цицианов; <...>
О, Котляревский, бич Кавказа! <...>
Губил, ничтожил племена. <...>
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны,

Все русскому мечу подвластно (IV, 114), – что, казалось бы, создает вопиющее противоречие с основным пафосом самой поэмы – пафосом свободы.

Пылкий свободолобец, князь П.А. Вяземский выразил мнение определенной части либеральных кругов, резко отозвавшись о духе и стиле эпилога в письме А.И. Тургеневу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? <...> Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг – настоящий анахронизм» (27 сентября 1822 г.) [16].

О грядущем суде истории над событиями кавказской войны спустя три года, отправляясь в Чечню, в ставку «проконсула Кавказа» А.П. Ермолова, с трагической иронией выскажется другой, уже знаменитый, поэт: «... борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением <...> будем вешать и прощать и плюем на историю», – написал А.С. Грибоедов за неделю до декабрьского восстания [17].

Современные исследователи справедливо усматривают в эпилоге вторгающуюся в сюжет поэмы могущественную силу – историю [18]. Глас истории в эпилоге «Кавказского пленника» действительно звучит – в голосе самого поэта. «Имеющий уши да услышит» [19]. Подлинным итогом поэмы, на наш взгляд, является не барабанно-одическое славословие «русскому мечу», но скорбная эпитафия «гордым сынам» Кавказа, надгробное слово Пушкина, посвященное «дикой вольности»:

Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно; <...>
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас, <...>
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы (IV, 114).

В завершающих строках эпилога ощутимы высокие чувства самого поэта – «Негодование, сожаленье, Ко благу чистая любовь» (VI, 135), – из которых вырастает горько-объективная оценка жестоких событий – суд необозримо далекого будущего: «возвестят о вашей казни Преданья темные молвы». Пушкин смог увидеть историческую трагедию кавказских завоеваний «взглядом Шекспира» [20], уяснив и выразив диалектическую связь между «изменой прадедам» и «казнью» народов. Все это можно назвать по-другому, увидев оптимистическую перспективу истории в силе прогресса и просвещения, в цивилизаторской роли огромной империи и в преобразующей функции эволюционного процесса, – но не применительно к поэме, где свобода названа «священной» (IV, 94).

Последние строки «Кавказского пленника» можно рассматривать и как своего рода пролог к теме «калмыки в мире Пушкина». Поэт еще только вступает в зыбкое, драматически-конфликтное пространство российской истории, но сколь многое здесь провидчески угадано! – на столетия вперед.

В сходных отношениях пророческого предвосхищения и переосмысленного предсказания находятся между собой, диалогически перекликаются, увертюрно прозвучавшая строка о «диких сынах степей» («Калмык, башкирец безобразный» – IV, 145) из пролога поэмы «Братья разбойники» (1822) – и поименование «языков» в составе «всей Руси великой» из итогового стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Однако всякий, кто помнит веселое, молодое вольнолюбие двустихия:

Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, калмык!

– заключающего послание петербургским друзьям по «Зеленой лампе» (из письма

Я.Н. Толстому, 27 сентября 1822), именно в нем улавливает и начало движения «калмыцкой темы», и ее постоянную неотделимость от важнейшего для Пушкина круга идей – от **контекста свободы**.

Переходящие из центральной части черного послания «лампистам»:

**Услышу ль я, мои поэты,
Богов торжественный язык?
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, Калмык!**

(март 1821 – 26 сентября 1822; II, 716, 722) – в письмо брату Льву Сергеевичу: «... пожелаю здравия Калмыку...» – упоминания о калмыке и формула благопожелания, то исходящая от него, то адресованная ему самому, оформляются как некий позывной сигнал о принадлежности к «Зеленой лампе» и в окончательном тексте послания звучат уже как пароль. В сообществе «Зеленой лампы», легального филиала декабристского Союза благоденствия, духовная свобода проявлялась в сфере свободного, веселого и правдивого слова, не стесненного страхом угнетения и не скованного ханжески-лицемерной моралью:

**Услышу ль, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, Калмык! (II, 234)**

Это свободное, веселое и правдивое слово, рожденное в атмосфере «милого равенства» «верных поэтов», подогретое «кипеньем» вина в «золотой чаше», и определяет особый, понятный только посвященным – **«очарованный язык»**, – цитатами из которого и заканчивает свое послание петербургским друзьям кишиневский изгнанник.

«Желай мне здравия, Калмык!» – этот намек был понятен каждому «ламписту», то есть обладал особым, «домашним», кружковым значением, которое требует определенных комментариев [21]. Сам Я.Н. Толстой, председатель «Зеленой лампы», давал следующие пояснения о характере деятельности общества: серьезная часть заседания завершалась обычно веселым дружеским ужином. «Само собой разумеется, что во время ужина начиналась свободная веселость; всякий болтал, что в голову приходило, остроты, каламбуры лились рекой, и как скоро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо, калмык наш улыбался насмешливо, и, наконец, мы решили, что этот мальчик, всякий раз, как услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, кто его отпустит, и сказать: «здравия желаю!». С удивительной сметливостью калмык исполнял свою обязанность. Впрочем Пушкин ни разу не подвергался калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует: Азия протезирует Африку»» [22].

Поэт явно воспринимал калмыка как равноправного участника встреч и бесед «лампистов», для которых застолья в доме Всеволожских были естественным продолжением «серьезных заседаний» общества, где свободно развивались затронутые ранее литературно-театральные и политические темы. Дух свободного собеседования согревает «литературно-академическую» атмосферу и возвышает атмосферу пиршественно-бытовую. «Сметливый» калмык не только понимал «очарованный язык» участников пиршества, но и говорил на этом «языке» слова, пусть шутивого, благопожелания. Так образ мальчика-калмыка, который особо отличал поэта, гордящегося своим африканским происхождением, и потому с неизменной теплотой вспоминался в кишиневской ссылке, наделен во всех пушкинских упоминаниях о нем определенной художественной функцией. Поэт придает ему роль персонажа, связующего пиршественное и духовное содружество свободных людей, – роль, которая перерастает в символическое олицетворение «милого равенства».

Далее выстраивается ряд дорогих (хотя бы потому, что каждая пушкинская строчка дорогого стоит) упоминаний и свидетельств дружелюбного и доброжелательного внимания поэта к небольшому народу.

Это прежде всего завершенный комплекс эпизодов и фрагментов из путевых записок, послания «Калмычке» и «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года», представляющий в окружении поэтических «атрибутов» мотива свободы: «...**орлы** сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и **гордо** смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых

Гордо бродят табуны» (VIII, 446).

Стихи казненного за свободу Рылеева, чье имя осталось неназванным, узнавались читателями безошибочно и явственно усиливали это звучание темы свободы – свободные, как степи, орлы и вольные табуны. В путевых записках есть и нескрываемые проявления дружелюбия просвещенного и гуманного путешественника к «разным народам»: «Разные народы разные каши варят. Калмыки располагаются около стационарных хат. Татары пасут своих вельблюдов, и мы дружески навещаем наших дальних соотечественников» (VIII, 1028).

«Путешествие в Арзрум» – произведение усложненной проблематики; здесь очень многое (декабристский комплекс) зашифровано Пушкиным, который уже с середины 1820-х годов мог бы сказать о себе: «На тайные листы записывал я жизнь»; это произведение переходное – обозна-

чившее крутой поворот к «поэзии действительности». Изобретательно создан здесь двоящийся образ автора, пронизанный иронией по отношению к самой необходимости «создавать образ» эдакого беспечного, любопытного «путешественника по собственной надобности», сквозь который проступают черты пушкинского облика. Для содержания «Путешествия в Арзрум» ключевыми являются две первые главы, выросшие из «путевых записок», и в известной мере – тесно связанное с ними послание «Калмычке». «Калмычские нежности», шутивно описанные в эпизоде записок и со скрытой сердечной теплотой – в стихотворении, определяются сложным, многозначным контекстом «Путешествия в Арзрум», где основными являются мотивы встреч с прошлым («меня похвальная привычка Не увлекла среди степей Вслед за кибиткою твоей» (III, 159) – намек на то, как в юности поэт бродил с кочевьем цыган); раздумья о свободе людей и народов и о борьбе за нее, возвышенные не романтической патетикой, а объективно-ироническим тоном реалистического повествования; мотивы утрат и обретений на дороге жизни, придающие книге путевых очерков нравственно-философскую глубину; наконец, мотив личного достоинства, в котором Пушкин видел «залог величия» и основу «самостоянья человека» (III, 242).

В поэтическом портрете молодой калмычки, свободной в своей «дикий красе» (III, 159) от ухищрений полугерманской полупросвещенности, есть восхищение ее врожденным чувством собственного достоинства и – отсвет сердечного впечатления, которое тем сильнее, чем небрежнее говорит о нем поэт [23].

Документальные материалы и сведения о калмыках и их активном участии в крестьянской войне (чтобы обозначить, но не назвать устрашавшее правительство слово «война», Пушкин иронически пишет: «театр беспорядков» – IX, 22) из «Истории Пугачева» приводятся с неизменным сочувствием автора и органически связаны со все более расширяющимся «контекстом свободы» – борьбы за свою свободу широких народных масс.

Сведения Н.Я. Бичурина о великом исходе калмыков 1771 г. Пушкин осмысляет как «происшествие важное», «подавшее повод» к пугачевскому «мятежу» (IX, 10): «мирные калмыки» «верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы <...> начали их угнетать. Жалобы сего смиренного и доброго народа не доходили до высшего начальства: выведенные из терпения, они решились оставить Россию...» (IX, 10 – 11). Здесь все пушкинские определения калмыков сочувственны (симпатия!): «мирные», «верно», «смирный», «добрый» и – «выведенные из терпения».

Веско, емко переданная трагедия большей части калмыцкого народа, которая не смогла вынести непомерного гнета и в своем стремлении к свободе была готова идти до конца, до самых крайних последствий, воспринята как пролог к кровавой трагедии «пугачевщины».

Участие калмыков в восстании 1773-1775 годов понято в свете особенностей национального характера, но объяснено как следствие главной – социально-политической причины: **«Весь черный народ был за Пугачева»** (Из итоговых «Общих замечаний» – IX, 375), – убедился Пушкин за время своей исторической экспедиции в эпоху «бунта, бессмысленного и беспощадного» (VIII, 383).

И от имени этого «черного народа», в качестве «мнения народного», высказанного по поводу грандиозных потрясений, звучит в романе «Капитанская дочка» «калмыцкая» сказка об орле и вороне, притча, рассказанная предводителем народного восстания дворянскому сыну Петруше Гриневу «с каким-то диким вдохновением» (VIII, 353). В социально-психологической коллизии и нравственно-философской проблематике романа этому эпизоду отведена ключевая роль.

Идейная проблематика «Капитанской дочки» определяется кругом основных, категориальных понятий, постоянно живущих и взаимодействующих в творческом сознании Пушкина, – понятий свободы и счастья, чести и долга. По пути чести, понимаемой как исполнение долга, идет дворянин Гринев, и этот путь ведет его к заслуженному страданиями скромному счастью. По пути чести, понимаемой как стремление к свободе, идет беглый казак Пугачев, и этот путь ведет его к заслуженной «убийством и разбоем» лютой казни. Злодейство наказано, добродетель торжествует... Какая высокая, поистине шекспировская ирония у Пушкина по отношению к плоской, односторонней морали, как несоизмерима она с многозначностью жизни и неумолимостью судьбы! В вихре метели встретились, в огне восстания не ожесточились сердцами и за миг до казни узнали друг друга и обменялись сквозь толпу невыразимыми взглядами – вчерашний недоросль и мужицкий «царь», пути которых столь знаменательно пересеклись. Третий, общий для обоих путь, ведущий к свободе и счастью, видимо, невозможен. Но как важно хотя бы *услышать* и *понять* друг друга через разделяющие людей преграды. И этой возможностью объединяющего взаимопонимания превыше всего дорожит автор, оставивший нам «Капитанскую дочку» как свое нравственное завещание.

Невозможно отделаться от мысли, что смысл пугачевской притчи близок и самому

Пушкину, которому после «Капитанской дочки» оставалось жить среди людей меньше полугода. Ворону заказан путь орла – краткий миг полнокровной жизни выше мертвенного существования, а честь и свобода превыше самой жизни. И вышел Поэт на свой последний поединок чести, вылетел в свой последний орлиный полет – в бессмертие свободы, к свободе бессмертия.

«Нет, весь я не умру!» Работа над «Капитанской дочкой» подходила к концу, когда слагались высочайшей чеканки строфы «Памятника», наполненные бронзовым гулом столетий.

В «Памятнике» предсказано будущее величие «Руси» – величие могущественного объединения населяющих ее «языков». И в свете этого будущего уточняется смысл пушкинских определений перечисляемых народов, что «назовут» – назовут своим поэта:

И гордый внук славян (гордым ощутит себя в то время потомок славян),

и финн (нейтрально-возвышающее «финн» вместо прежнего «убогого чухонца» – V, 135),

и ныне дикой тунгуз (в том же, мечтаемом будущем не станет «диких» и «убогих» племен),

и друг степей калмык (в начале движения этой темы у Пушкина, в прологе к поэме «Братья разбойники» калмыки названы «сынами степей» (IV, 145); «сын степей калмык», – повторит поэт в черновом варианте строки «Памятника» (III, 1035), а потом исправит: «друг степей»; исправленное выражение оказывается более точным в свете истории названного народа: со времен работы над «Историей Пугачева» Пушкин знает, что калмыки **пришли** в эти степи, а не жили в них искони – то есть не были порождены ими, не являлись их «сынами». – «Друг степей калмык» (III, 424) – это единственная формула «Памятника», которая не подчинена временным изменениям; здесь найдено и выделено качество постоянное, и идея постоянства, верности себе заложена в самом определении «друг степей», как уже в слове «степи» содержится представление о вольности и свободе).

* * *

Предложенный обзор не претендует на представление абсолютной полноты пушкинских высказываний о калмыках, сделанных в той или иной связи. Вот, например, образный эпитет к замененному стиху из поэмы «Кавказский пленник»: «Как бишь у меня? *Вперял он неподвижный взор?* Поставь *любопытный*, а стих все-таки калмыцкий» (из письма П.А. Вяземскому от 1 – 8 декабря 1823 г. Из Одес-

сы в Москву – XIII, 81); здесь «калмыцкий» означает «черновой, необработанный», но в целом смысл замены определения обусловлен неудовлетворенностью автора «форсированной», чрезмерно экспрессивной стилистикой «романтизма страстей» и его поисками психологически более точного выражения.

А вот и по сути неверное замечание о том, что «калмыки не имеют ни дворянства, ни истории»; оно предшествует знаменитому афоризму: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим», – и в контексте пушкинской заметки связано не с историческими предубеждениями автора (которому еще предстоит стать историком), и тем более не с его национальными предрассудками, но обусловлено атакой гуманиста на «дикость, подлость и невежество». В целом же публицистическая мысль Пушкина разворачивается так:

«Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей отечества» («Опровержение на критики» – октябрь 1830 г., Болдино – XI, 160). Такого рода суждения объясняются не высокомерием поэта, гордящегося (и по праву) своим шестисотлетним дворянством, и не его европоцентристскими представлениями об истории народов, но лишь неполнотой известных ему в то время исторических сведений, в данном случае, о калмыках. Подобная узость и односторонность исторического взгляда будет им впоследствии, в ходе работы над «Историей Пугачева» (1833-1834) – куда, напоминаем, широким потоком хлынули объективные сведения и о калмыках, – уже не только преодолена, но и отвергнута.

Намереваясь, как известно, включить в текст «Путешествия в Арзрум» поэтическое «послание калмычке», Пушкин с грустью сознавал, что оно, «вероятно, никогда до нее не дойдет...» (VIII, 1029). Возможно, именно в надежде, что это послание когда-нибудь «дойдет», и упомянут «друг степей калмык» в итоговом создании поэта – в его духовном завещании, в котором он предстает (по словам автора замечательного биографического труда, написанного вдали от родины, но не вдали от Пушкина) как «могучий охранитель единой России,

который молнией слова свяжет населяющие ее племена» [24].

Дошедшее до нас послание поэта представляет собой определенный свод произведений, фрагментов произведений и высказываний, пронизанный внутренним единством взаимосвязей и перекличек. Пристальный анализ, предварительные результаты которого изложены в данной статье, показывает, что тема «калмыки в мире Пушкина» не сводится к простым, однозначным и плоским упоминаниям. Это целая, сложная и развивающаяся, система в творчестве гения «всемирной отзывчивости» – своего рода галактика в необозримом космосе пушкинского художественного мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сочинения и переписка А.С. Пушкина приводятся с указанием тома и страницы в скобках после цитаты по Большому академическому изданию: *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. В 16-ти т. Юбилейное переиздание: в 19-ти т. М.: Лабиринт, 1994–1997. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессивно-смысловой характер или передают колорит эпохи.

2. Из стихотворения «Я Музу юную, бывало...»: *Жуковский В.А.* Сочинения. М.: Госуд. изд-во худож. лит., 1954. С. 96.

3. «Зеленая лампа» – легальный филиал декабристского Союза благоденствия на раннем этапе его деятельности. Основательно изучается с начала XX в. См.: *Щеголев П.Е.* «Зеленая лампа» (впервые изд. в 1908 г.) // *Щеголев П.Е.* Первенцы русской свободы. М.: Современник, 1987. С. 208–235; *Томашевский Б.В.* Пушкин. Книга первая (1813–1824). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 193–234; *Бонди С.М.* Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой лампе» // *Бонди С.М.* Черновики Пушкина. Статьи 1930 – 1970 гг. М.: Просвещение, 1971. С. 91–108; *Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // *Литературное наследие декабристов.* Л.: Наука, 1975. С. 25–74; *Королева Н.В.* Декабристы и театр. Л.: Искусство, 1975. С. 146–188; *Фомичев С.А.* Анализ автографов «<Послания к «Зеленой лампе»>» // *Пушкин. Исследования и материалы.* Т. XVI–XVII. СПб.: Наука, 2003. С. 49–57. См. также: *Кичикова Б.А.* «Желай мне здравия, Калмык!»: историко-литературный комментарий к комплексу текстов А.С. Пушкина начала 1820-х гг. // *Теегин герл.* 2001, № 8. С. 41–80.

4. Упоминаемые далее лица, явления и события социально-политического, историко-культурного, литературно-эстетического и частно-бытового характера, личные контакты, научные сочинения, литературные произведения, документы и письма приводятся, интерпретируются и датируются на основании справочных изданий и сводов: *Летопись жизни и твор-*

чества Александра Пушкина / сост. М.А. Цявловский, Н.А. Тархова; науч. ред. Я.Л. Левкович. В 4-х т. М.: Слово / Slovo. 1999; *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. 2-е, изд., перераб и дополн. Л.: Наука, 1988; *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: (Библиогр. описание). СПб.: Типогр. Императорск. Акад. Наук, 1910 – Репр. воспроизведение; *Модзалевский Б.Л.* Библиотека Пушкина. Новые материалы: приложение к репр. изданию. М.: Книга, 1988; *Абрамович С.Л.* Пушкин в 1833 году: хроника. М.: Слово, 1994; *Декабристы:* биографический справочник / изд. подг. С.В. Мироненко; ред. акад. М.В. Нечкина. М.: Наука, 1988 (включен «Алфавит Боровкова»: с. 215–345), – и, кроме отдельных случаев, особо не оговариваются.

5. См.: *Санчилов В.П.* Предисловие к 2-му изданию // *Бичурин Н.Я. (Иакинф).* Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени. 2-е изд. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1991. С. 6–17.

6. «Узнав, что он занимается историей Пугачевского бунта, я препроводил к нему редкий экземпляр Рычкова», – вспоминал И.И. Лажечников (*А.С. Пушкин* в воспоминаниях современников: в 2-х т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1985. С. 178).

7. *Шакурова Ф.А.* От издателей // *Рычков П.И.* Топография Оренбургской губернии / коммент. Кучумов В.И., Шакурова Ф.А. Уфа: Китап, 1999. С. 8.

8. На «Топографию Оренбургскую» Пушкин ссылается постоянно, см. особенно: IX, 759–771. В библиотеке поэта хранится под № 342.

9. См. в главе второй раздел VIII «О зюнгорах» и в главе пятой раздел V «О калмыках» (с. 26–33 и с. 61–72 – по современному переизданию).

10. См. также: *А.С. Пушкин.* Письма к жене / сост., ст., комм. Я.Л. Левкович. Л.: Наука, 1986. С. 145–146 (комментарий).

11. *А.С. Пушкин* в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 121. Слова поэта приводит М.В. Юзефович, товарищ Льва Сергеевича Пушкина, адъютант генерала Н.Н. Раевского-сына, вспоминая об одной из тем литературных бесед «на биваке», где-то на пути к Арзруму, во время похода 1829 года.

12. Эпизод из воспоминаний молодости Д.В. Давыдова: первое представление графу М.В. Каменскому, когда старый фельдмаршал «начал поименно называть моих родственников <...> до выходца из Золотой орды Минчака Касаевича, родоначальника Давыдовых» (1806). Анализируя смоленский этап Отечественной войны, автор «Дневника партизанских действий 1812 года» касается темы жестокости к врагу. В сравнении с описанным здесь ужасающим садизмом А.С. Фигнера сокрушенно вспоминается и собственная, вынужденная, жестокость: «Я велел жечь сараи, – исчадь чингисханово, – сжечь и сараи и французов!» (*Давыдов Д.В.* Военные записки. М.: Воен. изд-во, 1982. С. 42, 207.)

13. Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Лунин. М.: Вагриус, 2004. С. 75.

14. См.: *Баскаков Н.А.* Русские фамилии тюркского происхождения. М.: Наука, 1979.
15. Формула, определившаяся в историософской статье Г.П. Федотова (1937, в эмиграции); см: *Федотов Г.П.* Певец империи и свободы // *Пушкин в русской философской критике.* Конец XIX–XX в. М.; СПб.: Университетская книга. С. 378–395.
16. *Остафьевский* архив князей Вяземских. Переписка кн. П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым: в 4-х т. СПб., 1899–1913. – Т. 2. СПб., 1899 / Репр. изд.: М.: Век; АПП «Джангар». Элиста, 1994. С. 274–275.
17. В письме С.Н. Бегичеву. 7 декабря 1825 г. Станица Екатериноградская (*Грибоедов А.С.* Сочинения. М.: Госуд. изд-во худож. лит., 1953. С. 543–544).
18. «Эпilog неожиданно переносит нас от частного человеческого сюжета на поле государственной истории, и певец «священной свободы» славит победы «русского меча» над «дикой вольностью» гордых сынов Кавказа <...> Пушкину важен этот фон большой истории, нужна история как действующее лицо его поэзии; душевное дело, драма героев совершается в зоне исторической борьбы» (*Сурат И., Бочаров С.* Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 30).
19. Осудившие поэта за строки «кровавой» оды победителям не слышат его голоса уже почти двести лет. Ср.: «Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» – гимне свободе», – морализирует Г.П. Федотов (Указ. соч. С. 381).
20. Когда вся страна замерла в ожидании приговора декабристам – «друзьям, товарищам, братьям» (XIII, 291) Пушкина, он пытается поддержать, приободрить А.А. Дельвига: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружение заговора. <...> Не будем ни суеверны, ни односторонни <...> но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (Начало февраля 1826 г. Михайловское – XIII, 259).
21. Подробно см. в указанной выше работе: *Кичикова Б.А.* «Желай мне здравия, Калмык!»: историко-литературный комментарий к комплексу текстов А.С. Пушкина начала 1820-х гг. С. 61–77.
22. Цит. по: *Томашевский Б.В.* Пушкин. Книга первая. С. 202–203, примеч. 101.
23. «Новизна стихотворения «Калмычке», – пишет Е.П. Никитина, – заключается в том, что новая героиня служит утверждению демократизирующегося эстетического идеала. Модная ложа и кибитка уравнены. <...> смелое обновление тем, введение новых героев, расширение жанровых границ определялось углублявшимся пониманием смысла человеческого равенства. <...> Это стихотворение вписывается в контекст целого этапа творчества Пушкина, как всегда, сводящего воедино многие нити предшествующего периода и заключая в себе зерна будущих созданий» (*Никитина Е.П.* Стихотворение Пушкина «Калмычке» // *Юлиан Григорьевич Оксман* в Саратове. 1947–1958 / отв. ред. Е.П. Никитина. Саратов: Колледж, 1999. С. 208–209).
24. *Тыркова-Вильямс А.В.* Жизнь Пушкина: в 2-х т. Т. 1: 1799–1824. М.: Молодая гвардия, 1998. С. 184. Заслуживший широкое признание российского читателя, вдохновенный труд Ариадны Владимировны писался в эмиграции (1923–1939) и вышел в Лондоне в 1948 г. Писательница принадлежала к тому же старинному роду новгородских дворян Тырковых, что и Александр Дмитриевич Тырков (1799–1843), лицейский товарищ поэта (19 октября 1828 г. на квартире А.Д. Тыркова праздновали семнадцатую лицейскую годовщину). Между тем О.Н. Михайлов во вступительной статье к книге А.В. Тырковой-Вильямс об этих родовых (и лицейских) истоках пушкинолюбия автора даже не упоминает.

ББК 81.2(2Рос=Калм)

МОДАЛЬНОСТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ (на материале современного калмыцкого языка)

Н.М. Мулаева

В данной статье рассмотрена модальность желательности и средства ее выражения на материале современного калмыцкого языка.

Ключевые слова: *модальность желательности, лексемы, средства, конструкции.*

In this article we consider modality of desirability and facilities of its expression on materials of the modern Kalmyk language.

Keywords: *modality of desirability, lexemes, facilities, constructions.*

Цель настоящей статьи - рассмотреть модальность желательности и средства ее выражения на материале современного калмыцкого языка.

Модальность желательности в калмыцком языке рассматривалась в «Грамматике калмыцкого языка» [1], в трудах Р.П. Харчевниковой [2], В.Н. Мушаева [3], в бурятском и